

Выезжали спозаранку. Новая хозяйка квартиры глядела с любопытством — и на аккуратные чемоданы, и на рюмочку с корвалолом, и на заплаканное матерно лицо. Мать пустилась было в беседу — объясняла, что раковина на кухне иногда капризничает, а полпакета стирального порошка, хорошего, дорогого, остались в ванной, но под Катиным взглядом осеклась и умолкла. Жаркие солнечные квадраты, врывающиеся в окна по утрам, отправившись в свой ежедневный путь от подоконника до стены, отмеряя время от завтрака до полудня, чтобы исчезнуть в тихий обеденный час уже на чужих, равнодушных глазах. Хлопали двери на сквозняке, лился в комнаты привычный уличный шум, и таксист, вошедший без звонка и стука, подхватывал чемоданы с такой лёгкостью, словно были они совсем пустые.

Усевшись на детское одеяльце, зачем-то расстеленное водителем на заднем сиденье, мать закрыла глаза, чтобы не видеть, как движется рядом с автомобилем знакомый до кочки двор — с недоумением, прощаясь, прячась где-то за спиной, в полутёмном закоулке памяти, отведённом для ушедшего и потерянного. Потом стыдилась залитых слезами щёк, встряхивалась, шумно рылась в сумочке, доставала то расчёску, то зеркальце, то бутылочку с кипячёной водой. День выдался дивный — чистый, буднично-простой; такси летело легко, минуя светофоры без задержек, и быстро, очень быстро вырос впереди острый, похожий на огромную зубочистку шпиль вокзала.

Двигаться на юг ранней весной хотелось немногим — и оттого ленивый длинный поезд оказался полупустым и тихим. Ветер резво гонял сухую пыль от путепровода до перрона, и казалось, что нет и не может быть никакой трагедии в отъезде — а только обыденность, только скука. — Надо же, — сказала мать, войдя в купе, — не повернуться. Как же мы тут три дня?

Вагоны задрожали и дёрнулись, заплясало в окне узкое полотно занавески, и заработало неведомое раньше ни Кате, ни матери железнодорожное волшебство: стенки купе будто раздвинулись, а потолок поднялся. Мать зашелестела, засуетилась, закрутив возле себя небольшой смерч из постельного белья, пакетов и пузырьков.

— Главное — добыть кипятку, — бормотала она, — и не пропадём. Веник бы... Хотя погоди, я же щётку складывала. Ноги подними-ка.

Где-то гремели чем-то железным — будто миски падали в тазы, а за оконным стеклом мелькали неяркими пятнами невысокие зданища, построенные невзгодой для чего в каждой полосе отчуждения и всегда пустые.

— Ох, господи... — сказала мать, завершив хозяйственную возню. — Едем, значит.

Хотела было всплакнуть, но, опередив её, в соседнем купе зарыдал ребёнок — отчаянно, во весь голос, и мать только вздохнула, мгновенно перейдя от жалости к себе к сочувствию неизвестному дитяти и его родителям.

— Маленькому-то в такой тесноте... — прошептала она и мысленно перебрала содержимое упряганного под полку пакета с припасами. — Ты, Катюш, прикорни тут. Не спала ночь, наверное. А я схожу, погляжу, не надо ли чего.

И ушла, прихватив шоколадку.

Прошедшей ночью Катя и вправду не спала — дремала, не погружаясь в сон, а словно спотыкаясь, падала в неглубокие сонные ямки и тут же просыпалась — в гулкой, лишённой мебели комнате, ворочалась, пытаясь угнездиться, то мёрзла, то задыхалась от дурной, тревожной испарины. По-хорошему, при бессоннице положено было будить мать, и та, охая, прихрамывая, плелась на кухню, кипятила воду, кидала в чашку сухие щепотки — что там положено кидать, надо бы запомнить, наконец. Меленькие, колдовские движения, то ли шелест, то ли перезвон, шорохи и постукивания, а потом тишина и жёлтый спокойный свет, падающий из кухни на тёмные дощечки паркета. В этом безмолвии распускалась в чашке сухая травка — вспомнила! чабрец! — и таяла, уходила от Кати злая, осой жужжащая тоска. Два глотка горечи — и сможешь спать.

Но прошедшей бессонной ночью, пустой, последней ночью на старом месте, будить мать Катя не стала — сражаться с бессонницей было бы нечем. Ситечко, серебряная солонка в виде уточки, чайники — большой, маленький и средний, кастрюли, ковшики и черпаки, переложённые газетными листами тарелки, чайные чашки, мраморная ступка,

супница в золотых цветах, никогда не использующаяся для супа, но хранящая в своём фарфоровом нутре тоненькие книжцы с рецептами сладостей и солений,— все эти хрупкие обитатели кухонных шкафчиков уже повзвизывали в темноте грузового вагона, пущенные в новую жизнь прежде своих владельцев.

Теперь и сама Катя неслась, покачиваясь, по рельсам, следом за домашними пожитками—содержимым двух комнат, балкона и кладовки, вспоминая, какой обиженной, униженной и обнажённой выглядела вся эта комнатная утварь во время погрузки и упаковки. Глупые мысли, бессмысленная жалость—саму-то Катю некому жалеть. И разве уснёшь тут, пусть и утихомирилось ровнее за стенкой дитя?

Мать вернулась через полчаса, укоризненно покрутила головой и изрекла неожиданное:

— Везучие мы с тобой, Кать.

— С чего это?

— Да вон ребята туда-сюда мотаются, да с дитём ещё. От войны бежали. С юга—на север, не прижились, теперь с севера—на юг. У нас и паспорта, и полис—если что. А у них права птичьи—то ли беженцы, то ли непонятно кто. Я им про нас чуток рассказала, что продали мы всё и тоже вроде как бежим. Но разве мы *так* бежим, Кать?

Слушать про беды незнакомцев Кате не хотелось, и она отвернулась, вслушиваясь в тяжёлый, с усилием, перестук и улавливая лишь отрывки из материного бормотания: «Мальчику-то лет шесть, не больше... и ни дома, ничего не осталось... до сих пор стреляют... отец на руинах остался, в сарае живёт... в саду и яблони были, и вишня... сама-то опять беременная... и попивают, похоже... малыша жалко, не родился ещё, а уже несчастный...» Собственная беда по сравнению с чужой казалась Кате и важнее, и горше—пусть и совестно было бы сказать об этом вслух, но себе самой-то можно и не врать. А мать—бесхитростно, просто—от страшной, но исключительно чужой безнадежности вдруг почувствовала себя счастливой, и стыдно ей от этого счастья не было, а только жаль было, очень жаль, что так в жизни выходит. И она представляла себе, как могла бы бежать с Катей от стрельбы и взрывов—непреренно ночью, ведь большая беда всегда приходит в темноте, и бежали бы непременно налегке, ничего бы взять не успели, а теперь бы ехали, пугаясь каждого стука и голоса, и каждый мог бы их обидеть и прогнать. «И ни помыться, ни поспать...»—думала мать, всё покачивала головой и бормотала:

— Это ж надо же как...

Мать была совсем не старая, но уже давно усвоила себе манеру старческую, пожилую—в беседе, в домашних хлопотах и в том, как осторожно, бережно носила своё тяжёлое тело. Так было и проще, и хитрее: мать словно бы обманывала

судьбу, жестокою к молодости и цветению, но равнодушно проходящую мимо отцветшего и поношенного,—не закрывала седину, говорила тихо, даже после недолгой прогулки спешила прилечь, платье выбирала широкие да потемнее, а на людях частенько прикладывала руку к груди и замирала, вслушиваясь и шевеля губами. В своей полноте мать чувствовала себя уютно, безопасно, будто тело окружало её—настоящую, невидную—надёжным, никому не интересным убежищем.

Ребёнок в соседнем купе опять заплакал, и завизжала следом за ним женщина. Упало на пол что-то тяжёлое, что-то завозилось и забилось. Шархнуло дверью, и визг стал невозможно высоким, прервался, и посыпались вместо него слова—но ничего понять в них было нельзя, перемежающиеся резкими, короткими ударами, словно колотил кто-то в стенку кулаком.

— Что ж это?—мать смотрела на Катю растерянно.—Поубивают сейчас друг друга. Малыша напугают. Может, полицию надо? Где проводники-то?

— Да сиди ты, не суйся,—раздражённо оборвала её Катя.—Тебе ещё достанется. Сами разберутся.

Разобрались и вправду быстро. Женщина умоляла, а ребёнок всё рыдал, и казалось, что плачет он не за стенкой, а совсем рядом. Мать осторожно отодвинула дверь и ойкнула: мальчик сидел на красном коврикe, подняв к ней мокрое лицо и растягивая губы скобкой—углами вниз.

— Ну-ка давай-ка сюда,—скомандовала мать.

Он ловко, как змейка, скользнул мимо неё, и опрокинутая скобка тут же исчезла с его лица.

— Как тебя звать? Голодный? Ну, ничего, ничего, всякое бывает. И часто у вас так? Страшно тебе?—мать сыпала вопросами и суетилась: влажными салфетками вытерла мальчику лицо и руки, высыпала на столик кучу мелких свёртков—с бутербродами, печеньем, аккуратно нарезанными яблочными дольками, вафлями и конфетами.

Мальчик представился Петей и угощение принял охотно—держал всё предложенное двумя руками и грыз быстро, дёргая носом на беличий манер. На остальные материны вопросы отвечал неохотно, пожимал плечами и хмурился. Вытянула мать из него лишь возраст: оказалось, что ему не шесть, а целых восемь лет, и очень хотел он, чтобы появился у него брат, а не сестра, потому что девочонка никак ему не подойдет, а брата можно всему научить, и будет куда веселей.

Поезд тем временем въехал в сумерки, заспешил в сторону ночи, и мать сдвинула оконные шторы, закрыв тревожный профиль горизонта, выведенный на бесцветном небе чёрной тушью.— Ложись, малыш, ложись. А вот я тебе простынку домашнюю постелю, нечего на этих казённых тряпках спать,—и мать взмахнула перед Петей ситцевой, в цветочек, тканью.

Катя, недовольная неуместной материнной добротой, забралась на верхнюю полку и глядела оттуда укоризненно и сурово, но потом уснула — на удивление быстро и легко.

— И ты спи, — мать робко дотронулась до лохматой Петюниной макушки — погладить не решилась. — Завтра пораньше разбуду тебя, твои, небось, уже уgomонятся, да и пойдёшь к ним.

Соседнее купе молчало — словно и не было там никого. Поезд замедлил ход, а после остановился. Мать слушала, как хрустят под чьими-то шагами камешки, как переговаривается с кем-то кто-то неведомый — негромко и печально, и сама опечалилась оттого, как равнодушно льётся в окно яркий огонь фонарей. Но прошло лишь несколько минут, и снова дёрнулись вагоны, уплыл в темноту фонарный свет, а поезд разогнался, качая лежащую мать из стороны в сторону. «Как младенца качает», — улыбалась она про себя. Хотела было вспомнить, как укачивала маленькую Катю, но вместо этого подумала о Пете: «Надо ему с собой ещё шоколадок, да конфеты ещё где-то были...»

Проснулась она от тихого движения, несоразмерного ни вагонной качке, ни сну, — где-то под ней, по самому полу, двигалось что-то маленькое, тёмное, и мягко ехала из-под её головы подушка — туда, под голову, мать уложила сумочку с документами и кошельком.

Скосив глаза в сторону, мать увидела пустую, устеленную ситцевыми цветами полку и заговорила туда, вниз, к полу, внятно и неспешно:

— Петюнь, да там рублей пятьсот, не больше. Я забоялась деньги брать в поезд, ехать-то всего три дня — чего покупать-то? Лучше еды побольше взять, правда?

Маленькое и тёмное замерло, потом шмыгнуло носом и спросило:

— И карточки, что ли, нет?

— Нет, что ты, не люблю я их. Только сберкнижка, но по ней без меня никак не получишь. Ты с пола-то встань, простудишься. Может, поспишь ещё? Или конфет хочешь?

Темнота молчала, и мать сжалась, ощутив вдруг остро и болезненно собственную крупную тяжесть и подумав, что сейчас её надёжное телесное убежище защитить свою владелицу никак не сможет, ведь грозит ей не взгляд и не слово. «А если нож у него? Кричать? Катя испугается...»

— Я пойду, — сказала темнота, — а ты за мной закрой на замок. И не пускай больше никого, дура, — ругательство вышло беззлобным и даже ласковым.

Дверь скользнула в сторону почти бесшумно — открылась и закрылась; мать, унимая дрожь, щёлкнула замком, улеглась, укуталась было одеялом, но тут же села и нашарила ногами тапки. Поезд снова умерял ход, серый утренний свет забрезжил меж занавесками, задвигались, а после остановились за окном острые длинные тени. Мать встала, глянула

на крепко спящую Катю, достала из-под подушки не добытую Петюней сумочку, накинула куртку и вышла в ледяные, весело пляшущие сквозняки коридора.

Соседнее купе было открыто, сердитый проводник сдирал с полок бельё и одеяла.

— Где ж соседи-то наши? — спросила мать. — Погулять, что ли, собрались? А мы долго стоять будем? — Техстоянка один час. А эти ночью ещё вышли, — ответил он и отвернулся.

— А мальчик как же? Они ж беженцы — куда ж они? — переполошилась мать.

— Да какие беженцы? Врут для жалости, а вы слушаете. А пацан только что смылся, ещё и чай весь спёр, засрапец.

— А если потеряется он? Может, в полицию?

— Женщина, знаете что... — начал было проводник, но умолк, махнул рукой, и по лицу его читалось, как ненавидит он и это раннее утро, и мятые простыни, и мальчиков, и пожилых надоедливых толстух...

Выйти из вагона мать не решилась. Она стояла, крепко держась за поручень, и глядела на усыпанную светлым гравием дорогу и небольшой пруд, окружённый сухими изломанными стрелами камышей. Зябли в воде деревянные мостки, где-то далеко лаяли собаки, а колкий утренний холод марта даже не обещал весну.

Мать подумала, что пруд, и тёмные дачные домики, и прошлогоднюю траву — всё это скучное, простое — она не увидит больше никогда; что через пару месяцев здесь будет зелено и шумно, а она никогда больше этого не увидит. И ей вдруг захотелось зашагать прямо в тапочках по дороге, чтобы камешки скользили под ногами, пройти по дощечкам мостка и опустить в холодную воду кончики пальцев, обернуться, посмотреть на медленно трогающийся, набирающий скорость поезд, а потом остаться совсем одной.

2.

«Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь...» — напевала мать, глядя в сердитое личико дочери; ишь, головёнка с кулачок, а такая серьёзная.

Страшно матери не было. Смутить её, помешать ей никто не мог: Катюшин отец, допущенный в дом даже не по слабости женской, а случайно, никогда больше материнных порогов не переступал; а родни никакой в живых у неё уже не осталось. Некрепкий был её род, непрочный: всё болели, пропадали где-то, выбирая дороги самые неудачные, и что хуже всего — переносили выпадающие на долю несчастья смиренно, без борьбы. Одна мать вышла покрепче и даже грузностью своей отличалась от остальных — тонкокостных и сухоньких. И теперь нахмуренный младенческий лобик радовал её до слёз: сердится — значит, жить будет хорошо, прочно.

«Колдуй, баба, колдуй, дед... — пела мать, пряча в шкаф тёплые от утюга бельевые стопки, — колдуй, сеньский медведь...» — шептала, оглядывая перед собой свой великий припасливый мирок.

И хоть ведуний или, упаси Бог, знахарок среди покорных судьбе материных родичей не водилось, своим шёпотом и мелкой ежедневной суетой сплела она чудную, никому не видимую сеть — колдовскую, не иначе.

Сначала, конечно, было неловко: дочь вплыла в жизнь совсем невесомой человеческой пылинкой; мать часами сидела рядом со спящим ребёнком и думала, что даже хрупкое имечко Катюша кажется грубым и очень уж большим для этих пальчиков и ушек. Приходилось придумывать крохотные словечки — нетяжёлые, летучие; стеречься сквозняков — чтоб не унесли; опасаться даже лунного света — не по себе становилось матери, когда искривлённое неведомой бедой лунное лицо рассматривало детскую кроватку сквозь оконное стекло.

Но мать колдовала и за бабу, и за деда, и даже за серого медведя: пальчики выросли в пальцы, ушки становились ушами; кипело молоко, лилась вода, и колдовская сеть, бывшая поначалу не крепче марли, держала всё плотней. Продольные нити обычных дней переплетались с поперечными нитками выходных; вкруговую же мать укладывала свои, секретные, почти паутинные волоконца: щепотку сухой ромашки в чай, букву «К», вышитую на изнанке платяца, кубик сахара под подушку — для сладкого, сверкающего чистотою сна.

Укрепляло колдовскую сеть и материно пристрастие к шторкам, полкам, шкафам и скатертям — да потемнее, потяжелее, — превратившим две комнаты, кухню и кладовку в мудрёный лабиринт с тайниками и убежищами. Доросшая, наконец, до своего имени Катюша укладывала в картонные коробочки мелкие монеты, бусинки, цветные стекляшки из kaleidosкопа; оборачивала сухо пахнущей шоколадом фольгой бруски пластилина — получались слитки золота и серебра; а потом рассовывала свои сокровища по углам. Чтоб не забыть, где упрятан клад, Катя рисовала карты — сначала простые схемы с пунктирами указателей и жирным косым крестом посерединке, а после, наловчившись, — сложные, собранные из нескольких листов, расчерченные хитро, кропотливо, с нарушением всех мыслимых законов пространства размещающие на сорока пяти квадратных метрах цепочки голубых озёр, горы в острых колпаках ледников, погибший тысячу лет назад сизый лес, шумные, опасные разбойничьи города.

И пока где-то взлетали самолёты, разбегались поезда, тысячи, миллионы людей, навьючив на себя рюкзаки, стремились в неведомое, мать с Катей укоренялись в своём доме и друг в друге бессловесной, слепой, нутряной любовью, растающей

в душу, тело и жилую площадь нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Плакали вместе над утренней овсянкой и вместе же её съедали, щедро сдоблив вареньем; выбегали в стылую пред-рассветную темноту, терпели ежедневное наказание разлукой и отовсюду скорее-скорее бежали друг к другу, потому что мир на своём месте, только если все свои дома, и время тогда льётся так гладко, что не заметно ни старости, ни взросления...

Как же нравилось матери всё, что пело и плыло рядом! Даже мимо галдящих на скамейках подростков мать всегда проходила с улыбкой: веселили и рваные брюки, и разноцветные рожки на футболках, и трогательные лодыжки, голые до самых холодов. Не смущал её неумелый, нарочитый матерок, а на выкрашенных девчачьих волосах она с удовольствием узнавала знакомую цветовую основу: ну вот этот нежно-русалочий — это ж разбавленная зелёнка! — а розовый — ведь точь-в-точь слабый раствор марганцовки. Пёстрые стайки, взрывающиеся хохотом или сосредоточенно утыкающиеся в телефонные экраны, бьющие светом и прыгучей, лёгонькой музыкой; одиночки, укрывающие лица глубокими капюшонами толсто-вок; пухленькие изгой с газировкой и булочкой в обнимку; плохо одетые бедняжки; пышные, созревшие уже красотки и мленькие, не подошедшие ещё к цветению полудети; не справляющиеся с собственными руками и ногами мальчишки, похожие на невесть кем управляемые ниточные куклы, — все они казались матери одинаковыми — милыми и чужими.

«Пусть, — говорила она, — пусть резвятся, пока молоденькие...» — и от собственной снисходительности чувствовала себя очень доброй, ни на секунду, правда, не допуская мысли, что зеленоволосой или голоногой может стать её Катюша.

Конечно, мать знала, что есть где-то несчастные, злые дети, живущие в нелюбви и оттого творящие страшное, — но их беды казались ей чем-то вроде дурного фильма: не хочешь, так не смотри, а если кто-то включил такое кино рядом с тобой, прищурь глаза, прикрой уши и гляди только на хорошее. И сама бы себе мать никогда не призналась, что её улыбка и доброта к чужим людям были равнодушием, счастливым и намеренным неведением человека, живущего на вечно солнечной стороне улицы.

Ранней осенью, когда город оправлялся после оглушительно жаркого лета — не было такого почти полвека, — Кате исполнилось четырнадцать. Хороший возраст, пушистый — так думала мать, подбирая рецепты для праздника: что там, избретать ничего особенного не будем — курочка, пара салатиков, колбаска-сыр.

К шести пришли подружки — Катюша сошлась с ними давненько, в раннем детстве, и держались

они в доме запросто. Светка, в очках и тонковатых косах,—мать помнила, как малышкой она всё просила водички и могла выдуть два стакана зараз; и Викуся—бедняжка, очень уж прикус неправильный, и оттого совсем мышиное личико.

Подперев щеку кулаком, мать глядела на сидящих за столом девчонок и радовалась: вот хорошо как, Господи, хорошо-то как, мирно.

— Кушайте, кушайте, мои хорошие, потом и тортик будет. Ну вот, Катюш,—сказала она дочери, привычно порадовавшись её ладному личику,—какая ты взрослая стала.

Вспомнив собственные четырнадцать, мать взгрустнула.

— Мы совсем не так жили, совсем не так. А вам всё открыто: хочешь—туда, хочешь—сюда! Вот ты, Света,—с жалостью спросила она,—кем хочешь стать?

Света пожалала плечами, а Викуся захихикала: ходила меж подружками злая шутка, что тяжело, со страшным напряжением всех сил учившаяся Светка плюнет и станет в конце концов парикмахером.

— Вот и Катюша ещё не решила,—посоветовала мать,—а ведь ей куда угодно можно! Вот я иногда сажу и думаю: пройдёт лет десять—и останусь я совсем одна. Катюша в институт поступит, потом работать пойдёт, да, глядишь, ещё и в столицы унесёт её. А что, девочка умная, с руками-ногами оторвут, а она ведь ещё и сама так ничего,—мать покосилась на тонкие Светкины косы и вздохнула.—А там и замуж... А вдруг муж иностранец попадётся? И уплывёт моя Катюша за моря-океаны, там, говорят, добра побольше водится... А я тут буду... Я уж своё отплавала.

На самом деле мать даже представить себе не могла, что Катя может уехать учиться или выйти замуж: всё это было далеко и невозможно. В материнских мыслях путались и никак не складывались две картинки: в одной Катя, взрослая и решительная, покоряла мир, а в другой никогда от мамы далеко не уходила—ну, может быть, будет какая-то там работа, детки, чтобы рядышком все были, а лучше в одной квартире... О внуках мать думала с охотой, но мужчина, который заберёт Катю, начнёт с Катей жить и даже спать, казался немислимым и ненужным. Однако разговоры о неперменной разлуке и Катинном будущем где-то вддали от себя мать с некоторых пор считала обязательными и заводила частенько—так нужно было, по её представлению, *воспитывать*, и к тому же нравилось ей сладкое и тоскливое чувство, возникающее в груди при мысли о том, что нынешнее счастье когда-нибудь кончится—но ведь не скоро, не сейчас!

Девочки молчали и переглядывались. «Мешаю...—догадалась мать и встала.—Поболтать

хотят. Может, Господи прости, уже и мальчиков обсуждают...»

— Пойду я к себе, а вы тут уж празднуйте. Гулять-то потом пойдёте? Катюш, начнёт темнеть—сразу домой... .

Ночью шёл дождь, и оттого утро выдалось совсем прохладным. Нужно было доставать плащи и туфли—это простое дело всегда заставляло мать врасплох, и она сокрушалась, что никак не может угадать погоду хотя бы за несколько дней, чтоб всё сделать по уму: проветрить, погладить, встряхнуть. За суетой она не сразу сообразила, что Катя сегодня скучна и неразговорчива; обязательную овсянку одолела, но вот любимое печенье оставила на блюде.

— Ты как себя чувствуешь?—мать приложила ладонь к дочкиному лбу.—Горячевата что-то... Ну-ка горло покажи. Не видать ничего... Это Викуся твоя заразу притащила, я вчера так и подумала, она носом шмыгала тайком. Дома оставайся. Я тебе попить сделаю морса. Температуру измерь и мне позвони потом. Контрольных нет нынче?

Катя помотала головой и улеглась на диван, поджав ноги. Мать накрыла её пледом и быстро перебрала в памяти содержимое своего внушительного аптечного шкафчика: календула-ромашка есть, аспирин, витаминки, леденцы от горла, а вот брызгалку в нос надо купить. Ну и отпра-ситься с работы после обеда, нырнуть в овощной, в аптеку—и домой. Катины болячки мать всегда бодрили—врачуя дочку, она чувствовала себя нужной, ловкой и немножко всесильной.

Спустившись по лестнице, открыв подъездную дверь и, как обычно, на секунду зажмурившись от утреннего солнца (она болезненно переносила резкие переходы от темноты к свету), мать продолжала соображать, как бы побыстрее справиться с недугом: компот сварить из вишни; если горло совсем разболится, то сухой горчички в носки, а потом ещё можно мёду... .

Катино лицо—чёткое, чёрно-белое и оттого словно бы постаревшее—хлестнуло мать по ещё слезящимся от солнечного света глазам так неожиданно, что она снова зажмурилась и остановилась. «Показалось-показалось-показалось...»—выколочивало сердце, и мать открыла глаза осторожно и медленно. Но сомнений не было: на белом бу-мажном листке, наклеенном прямо на морщинистый ствол тополя, чернели толстые буквы: «ТЕБЕ КОНЕЦ»,—а под ними, перечёркнутая двумя диагоналями липкой ленты, была дочка—её густая чёлка и тёмные, широкие, как мягкой кистью нарисованные брови. Эту фотографию они сделали всего неделю назад, а потом мать собственноручно, хоть и неуверенно, ткнула на маленькое сердечко на Катиной интернет-страничке, отчего сердечко из бесцветного стало ярко-красным. Мать огляну-лась: ещё один белый листок с Катюшиным

лицом трепетал уголками на невысокой доске объявлений; дочкины глаза глядели с фонарного столба и спинку пустых скамеек — «ТЕБЕ КОНЕЦ», «ТЕБЕ КОНЕЦ», «ТЕБЕ КОНЕЦ»... Матери захотелось позвать на помощь, и она даже зашевелила губами, пытаясь кричать, но голова кружилась, и асфальт под ногами стал мягким, как песок. Двор был пуст, и только слышалось, как на дороге за домом разгоняются и тормозят злые, не выславшиеся автомобили. И тогда мать кинулась к тополи, сгребла листок всей пятернёй, охнув от крошащейся и вонзившейся под ногти коры, метнулась к фонарю и скамейкам, не замечая ни грязи, налипшей на туфли, ни зыбкой дождевой пыли, посыпавшейся с неба быстро и легко. Смяв листы в один комок, мать швырнула их в мусорную урну, но потом вдруг передумала и вынула обратно. Сунула потемневшую от дождя бумагу в сумку и, чуть пошатываясь, пошла на остановку.

3.

«Ни минуты не посидит спокойно, вот ведь белка какая... — мать разглядывала школьную директрису с неодобрением. — Начепурилась вся, гляди-ка, нарядная, как в ресторан собралась...»

Директриса прыгала от беспрестанно звонящего телефона до набитого картонными папками шкафчика, и видно было, что этим утром не радуют её ни отлично покрашенные волосы, ни собственная должность, ни хорошее шёлковое платье, ни уж тем более ранний визит очередной, наверняка полусумасшедшей, родительницы. — Прокуратура звонила, прокуратура, я тебе говорю, просят штатное расписание им отправить, ищи, у тебя где-то было! — кричала она в телефонную трубку, а потом кидалась в полутёмный коридорчик у кабинета — там, в окружении сломанных ступлей, хмурилась суровый сейф.

«И не устаёт ведь на таких каблуках. Красиво, конечно, но как уж хлопотно...» — матери было чуть неловко от своей грузности и тяжёлых сапог, и очень хотелось пойти домой, а ещё лучше — вернуться на две недели назад, чтоб не знать ничего и не помнить, как ругалась на неё в полиции инспекторша, не пожелавшая даже в руки взять злосчастные листки с Катюшиной фотографией. «У меня тут два пацана на вокзале под поездом, один мёртвый, другой без ноги, а ещё изъятие сегодня у наркоманки — голодом младенца держит, а вы тут ходите!» От этих слов мать перестала плакать и попятилась к двери. «Балуется кто-то, может, подружка ревнует! На улицу не пускайте вечером, про контрацепцию и зппп расскажите!» Тут уж мать замахала руками и убежала, слыша вслед: «После школы нюхайте, нет ли перегара, зрочки наблюдайте и зайдите, если что, через месяц!»

Не хотелось матери помнить и другое — как в отчаянии набрала она домашний номер Катиного

отца, четырнадцать лет хранившийся в записной книжке, и, сгорая от стыда — чисто кипятка глотнула, ей-богу, — пыталась напомнить чужому голосу о давнем знакомстве. И он вспомнил, хмыкнул презрительно, а после велел не звонить и ни на что не рассчитывать.

Но хуже всего было другое: неведомое матери ощущение предательства и несправедливости — от целого мира, бывшего ещё недавно приветливым и светлым. «Почему мы? Отчего?» — гадала мать и всё пыталась понять, кому так сильно могла не понравиться Катюша: это же уму непостижимо — надо ведь распечатать, да ещё и расклеить, не бояться. Матери настолько не верилось в происходящее, что, случись оно с кем-то другим, а не с ней, посоветовала бы скорее сходить к врачу и проверить зрение: вдруг померещилось? Никак не получалось у неё даже представить себе внешность злодея (или злодеев?) — не было в голове мало-мальски подходящего образа, и оттого всё рисовались ей какие-то киношные преступники в окладистых бородах, чёрных очках и перчатках...

Хлопотунья-директриса наконец утомилась, плюхнулась в скрипнувшее кожей кресло и, с подзрением поглядывая на умолкнувший телефон, спросила:

— Ну что там у вас? Восьмой «Б»? Печёнкина?

Мать, всегда любившая забавное звучание своей фамилии, устыдилась и её. «Что ж это со мной? Сама себе как не родная...» — мельком подумала она, вытащила из сумки потрёпанный на сгибе листок и развернула его перед директрисой:

— Вот что. Уже третий раз собираю. Первый раз во дворе расклеили, я чуть с инфарктом не свалилась, пока с дерева соскребала и с лавок. Потом прямо под дверь квартиры разбросали, а потом просто перед подъездом по газону, мне даже дворничиха наша приносила и любопытничала, что это такое творится и почему мы мусорим. А это ж разве мы? Как бы я мусорила собственной дочкой, а, я вас спрашиваю? — возмущённая дворничкиными нападками мать задрожала голосом и щеками. — Не реви уже, не реви. Господи, как вынести это всё? — бормотала она сама себе, не замечая, что говорит вслух.

Директриса отвела от матери глаза и вздохнула, уже сожалея, что никто не звонит.

— Катерина — девочка хорошая, учится ровно. Ни с кем не сорится. Учителя её любят. В классе, насколько мне известно, у неё проблем нет. Я, честно говоря, не знаю, чем вам тут поможет школа. Если только полиция...

— Да была я, была! — зарыдала мать. — Эта... инспекторша... сидит... младенцы там у неё с голоду умирают! А нам-то что теперь — терпеть это всё? — мать голосила, уже не сдерживаясь. — Перегар, говорит, понюхайте, зрочки ещё приплела! Да Катя даже шампанского не пробовала, а она про

эту, прости Господи, контрацепцию мне кричала, да на весь коридор—позор какой-то!

Директриса хмыкнула, но промолчала.

— Я ведь не знаю, куда мне побежать!— мать вытерла глаза и слёпнула листком по директрисиному столу.— Вы мне скажите, вы же здесь главная по детям: что мне делать? Пока я даже в школу отпустить её не могу, а ведь экзамены на носу!

— Хорошо, хорошо, вы только успокойтесь, не стоит нервничать. Давайте сделаем так. Я сама позвоню в полицию от имени школы и спрошу, что можно сделать. И вам потом перезвоню, договорились?

Телефон ожил, и обрадованная его воскрешением директриса состроила извиняющееся лицо: мол, сами видите—ни секунды покоя.

— Я перезвоню,—прошептала она матери, схватив трубку и прикрыв ладонью нижний её раструб.— Прокуратура? Да, слушаю вас, слушаю!

Мать поднялась со стула тяжело и неохотно— в тёплом кабинете она пригелась и размякла. Нужно было идти дальше, идти непонятно куда и что-то решать—ясно было, что эта тонконогая вертушка ничем помочь Катюше не сможет.

Директриса дождалась, когда за неприятной гостьей закроется дверь, и скомкала бумажную Печёнкину в плотный шарик. Хорошая девочка, с экзаменами надо будет помочь. А бумажками наверняка мальчишка влюбился и балуется. Не надо никуда звонить, замучают потом проверками. А если вдруг спросят, почему не звонила, то можно сказать, что не дозвонилась—этому всегда верят, потому что дозвониться и вправду никак нельзя.

Солнечная сторона улицы обернулась тенью—не осталось сил ни на добродушие, ни на снисходительность. Мать стала раздражительной и пугливой. Дома, конечно, держалась—бодрилась и хорохорилась, но, выходя за порог, чувствовала себя шпионом в чужом мире. Ни обычаев, ни языка этого мира мать не знала, и трудно ей было справляться с обыденностью в такой тёмной, незнакомой оправе. Самое простое, доставляющее раньше такую радость,—вроде прогулок по шумному утреннему рынку—теперь казалось пыткой.

Раньше мать павою плыла меж разноцветных прилавков: тут помидорные мячики, здесь влажная зелень, а там, гляди-ка, серебрятся тугие рыбки тельца, и кивает знакомый продавец: иди сюда, припас тебе лучшие на этой земле сёмгины головы. Теперь же лимонные солнца потускнели, картошка шла сплошь гнильё, а рыночные тётки огрызались, так и норовя обвесить. Мать толкали в очередях, хлопали перед её носом дверями, отдавливали в автобусах ноги, и жить ей стало словно бы тесно. Она и сама чувствовала, что даже глядит по-другому—виновато, с готовностью к обиде, со страхом,—а такого чужой мир, видимо, простить никак не мог.

Сменила тональность и музыка подростковых стаек. Не слышалось в ней ни весёлого щебета, ни лёгкости—сыпалось из детских телефонов что-то тяжко-ритмичное, то басовитое, то визгливое; идущие навстречу одиночки смотрели с вызовом; парочки не уступали узкой дорожки, и мать, ступив одной ногой на газон и поставив на другую тяжёлый пакет с яблоками, терпеливо ждала, покуда минуют её—неторопливо, вразвалочку. А как-то вечером совсем юная девчушка со злым лицом и словно бы замороженными, выкрашенными алым губами прошла мимо, вдруг выругалась и швырнула матери в лицо что-то лёгкое, холодно-влажное, вроде мокрой салфетки. Мать от испуга и омерзения сделала вид, что ничего не произошло, и даже не оглянулась, шла как идётся, неспешно и вроде как непринуждённо, а дома тёрла лоб и щёки с мылом до скрипа и красноты.

Дома было легче. Запрёшь двери, вытрешь пыльную обувь, сдвинешь поплотнее шторы—и можно жить. Дома можно попытаться собрать потерявшие натяжение нити колдовской сети, увязать их в прочное полотно—привычными делами и заботами, бульканьем кипятка, шкворчанием масла и особенной вечерней тишины, наступающей после того, как выключены кухонная плита и телевизор. И если бы знать, что утро не наступит, а вот так и будет всегда—сумеречно, тепло, сытно, если бы можно было остаться здесь не ведающим бед жуком в прочном янтаре...

Чуть проще было и оттого, что Катя всё знала: листки у квартирной двери она нашла сама, и после этого мать с облегчением запретила дочери выходить из дому, не признаваясь себе, что разделённая ноша её страха немного потеряла тяжесть. Катя, как ни странно, совсем не испугалась, а в ответ на материни вопросы только пожимала плечами: ни с кем не ссорилась, никого не обижала, и что ты, мам, какие мальчишки! Листала учебники, уютно шебуршала плотно исписанными тетрадками, почти не включала компьютер и охотно хлопотала по дому, пока мать была на работе. И только после дворничихиных криков и слышанного всем подъездом безобразного скандала пришла ночью к матери и спросила, можно ли ей немножечко полежать рядом. Мать разрешила, и с тех пор Катя больше у себя не спала и посапывала по ночам у матери под боком совершенно так же, как четырнадцать лет назад.

Приходили в гости Викуся со Светкой, глядевшие на Катю с восхищением: надо же, как в страшном кино снимается и не боится совсем! Но потом Викуся разболтала про листки своей маме, и девочкам навещать подружку запретили: вроде и глупости творятся, но держаться лучше подальше, пусть пока там сами разберутся, что к чему.

О том, что может случиться дальше и что нужно сделать, чтобы всё это закончилось, мать с Катей

не разговаривали. Меж ними вообще не было обычной жаловаться друг другу или просить поддержки; отчего-то любые серьёзные чувства — чужие или свои — вызывали у них неловкость, и обуждали они только самое простое, вроде погоды, одежды или начинки для пирога. И теперь Катя ничего не спрашивала у матери, частенько приходившей домой с заплаканными глазами, и мать Кате ничего не говорила, когда увидела, что детские её карты сокровищ сняты с антресольных высот и обрастают новыми морями и странами. Пусть отвлечётся ребёнок, что тут такого.

Но остаться запертыми насовсем никак не получалось. Назойливый и такой недобрый теперь мир сочился сквозь закрытые двери и окна: новостями, случайно услышанными соседскими пересудами, счетами за квартиру, снегом, сменившим дожди, звонками из школы и вежливым недоумением чужих: ну сейчас-то, мол, всё тихо, никто больше ничего не подкидывает — чего ж взперти-то сидеть второй месяц? Эх, думала мать, поглядела бы я на вас, что бы вы на моём месте запели, как бы заплясали и куда бы побежали...

4.

Две стены маминой спальни выходят на улицу, осенью и зимой в ней всегда прохладней, чем в других комнатах, и если надеть тёплые носки, можно играть в Арктику. Мамина кровать застелена белым лохматым покрывалом, и маленькая Катя укладывала под него подушки так, чтобы получались снежные холмы. Синий платок становился ледяным озером без рыб и водорослей — только айсберги, только густеющая на морозе вода. Между холмами прятались медведи и арктические лисы, фонарный свет за окном переливался северным сиянием, и хозяйничала в Арктике бесконечная, тихая полярная ночь.

В школе Катя часто думает про мамину комнату, и если становится невмоготу, то представляет себе, что она снова маленькая, лежит в Арктике на снегу и рисует карты полярных земель. На них звери, ледяные пещеры и горы, и нет ни одного человека, потому что обычный человек жить там не сможет. Маленькая Катя считала, что Арктика населена снеговиками, отправляющимися за полярный круг после таяния-смерти, а теперь она точно знает, что нет там ничего необычного, а только пустыня изо льда и снега. Но вспоминать про полярное королевство Кате всё равно приятно, прохладно и *отвлекательно*, потому что глядеть на всех, кто суетится рядом, ей совсем не хочется.

Правда, жить с закрытыми глазами никак нельзя, а людей рядом с каждым годом становится всё больше и больше, они подходят всё ближе и сжимают Катю в кольцо *непрерывного будущего*. И почему-то выходит, что жить прямо сейчас никак нельзя, потому что всё время нужно делать что-то

для следующего дня, недели, месяца, года. «Вы должны стать настоящими, успешными людьми! Я желаю вам счастья и только пятёрки!» — кричит на первосентябрьской линейке школьная директриса, а потом отходит в сторонку и нервно постукивает острым каблуком по полу. Все в школе знают, что у неё муж и любовник и что каждое лето она уезжает с любовником в Испанию, а муж остаётся дома с двумя детьми, пятилетними близнецами — тоненькими, светловолосыми, похожими на мать. Это и есть настоящее, успешное — на пятёрку? Или вот биологичка — замуванная, пухленькая, терпеливая, в несменяемой водолажке цвета свёклы и тугих брючках. Водолазка обтягивает её спину и живот, а лифчик она носит слишком тесный и оттого становится похожа на гусеницу в ровных, странно симметричных складках. Ещё есть историк, единственный в школе учитель-мужчина — страшно высокий и худющий. Как, должно быть, ему неловко в учительской, где одни женщины и всегда пахнет парикмахерской, потому что и кривоногая химичка, и старенькая русичка с просвечивающей сквозь кудряшки лысинкой, и грубая, крикливая англичанка на каждой перемене толкуются у зеркала и брызжут на себя лаком для волос.

Ладно, учитель — он вроде и не совсем человек, а что-то вроде напичканной цифрами и буквами машины. А остальные взрослые — соседи, прохожие, — бегущие навстречу или прочь с таким странным выражением, будто лицо у них сводит к носу? Сами торопятся и всех кругом торопят, подгоняют, только и слышно: «Не толпитесь! Проходите поскорей! Нет времени! Женщина, вы всех задерживаете!» Все они безнадёжны и совсем дураки, потому что торопятся они к собственному концу — ну а куда ж ещё?

Кате повезло. В школе она ни среди последних, ни среди первых, а где-то так, посерединке. Ноги ровные, волосы хорошие, прыщами не обсыпает, не толстеет. Одевалась бы чуть получше и была бы повеселей — приняли бы в красавицы. Но Катя в красавицы не шла, очень уж надо стараться, чтобы из них потом не выпасть, каждый день выдумывать, что надеть, как накрасить глаза, как причесаться. Вообще, девчонке очень страшно быть толстой — не пожалеют. Или если очень некрасивой быть, или странной, или — это больше для мальчишек — быть маленького роста: всё, не выберешься, считай, на всю жизнь пропал. С отверженными даже общаться нельзя, всем известно, что это заразно: ты только посидишь с ними рядом — и сам сразу испортишься.

Кате не очень хочется играть в эти игры, но ей даже невозможно представить себя на месте школьных толстух, или всеми презираемого мальчика-альбиноса, или той девочки из параллельного, с крохотными глазками и совсем без ресниц — ужас!

Катя знает, что её ровесники обычных, копошащихся рядом взрослых за настоящих людей не считают, а просто ждут: совсем немного времени пройдёт — можно будет выйти из-под унижительной власти и жить уже *нормально*. Правда, никто не представляет, что такое — нормально, но уж точно не так, как здесь, не так, как сейчас, не так, как все. Дайте только вырасти, вырваться, и уж мы-то никогда не будем — как вы, мы-то покажем, как надо, а вы ничего, совершенно ничего не понимаете и только всё портите!

Но никто, никто из глупых Катиных одноклассников и не догадывается, что все дети, от зарёванных первоклашек до развязных выпускников, с самого рождения хранятся в документах — в школе, поликлинике, паспортном столе. Наверняка, если хорошенько порыться, то можно найти записанным не только детское прошлое — кори, ветрянки, оценки, — но и будущее, и уж точно нет в нём никакого избавления от нынешнего унижения и чужих правил. Где-то в этих бумажках есть Катя — и никак не изменить то, что для неё уже напридумывали. А ведь ей-то ничего этого не хочется. Ни любовников, ни мужей, ни детей, ни скучной, бессмысленной учёбы, ни складок на животе, ни ежедневного галоп по городским улицам, автобусам и магазинам. А хочется только лежать на лохмотом покрывале и вести по бумаге тонкий пунктир от чистого ледяного озера до крутого снежного склона: под ним в тайной пещере спрятан клад, собранный не людьми, а мёртвыми снеговиками.

Это, конечно, удивляет, но в гонке безнадёжных взрослых не участвует только Катина мама. Раздражает в ней много чего: глупо сидящие мешковатые платья, какие-то дремучие рецепты лечения простуд (чего только стоит кипящий картофель, помогающий, видите ли, своим паром от насморка), медлительность, привычка болтать с каждым продавцом и печь блины на ночь глядя, а ещё эта манера выйти из подъезда, посмотреть на солнце и зажмуриться. Стоит, слёзы из глаз бегут, а она улыбается и объясняет: «Сейчас пройдёт. Это, доченька, куриная слепота. У бабушки твоей такая же была...»

Но вот странное дело — мир вокруг мамы успокаивается и замедляется. Она будто ловит его в свои сети, приручает, усмиряет, отводит куда-то в сторону, подальше от Катя... Какое такое *непременное будущее*, если мы ещё чаю не пили? Пусть подождёт. А мы пока неспешно пройдем от тёплой постели до кухонного окна, на секунду впустим в дом свежий утренний ветер, радостно продрогнем, захлопнем окно и халат запахнём поплотнее. Некуда, незачем, не к кому нам торопиться, и нет ничего интереснее нас самих, нас — здесь и сейчас.

И оттого мамино предательство стало для Катя полной неожиданностью: неужели это она, мама,

хлопочущая над каждой Катиной вещичкой, пугающаяся каждого её насморка, готова поступить со своей дочерью так жестоко?

Катя даже день запомнила: случилось это в прошлом году, третьего октября. Мама тогда явилась с родительского собрания, выбралась из тесноватого, *на выход*, плаща и со слегка потерянной улыбкой сказала Кате, что, мол, вот, доченька, мне сегодня объяснили на собрании, что время пришло. Катя удивилась: что такое, для чего время-то? А мама ей — р-раз! — и выдала, что взрослеть пора, велели всем ученикам со своим будущим определяться. Ты, говорит, доченька, уже определилась? И потом заохала что-то совсем несурзное: вылетишь ты скоро, девочка моя, из мамино гнезда, полетишь учиться, работать начнёшь, а потом и замуж выйдешь, детки у тебя свои появятся, будешь их любить, а мамочку уж побоку... Мамочка уже и не нужна будет... Ну а как ты хотела? Никто ещё под маминым крылом на всю жизнь не оставался, а уж ты тем более не задержишься, такая ты уж у меня умница, такая красавица... Захочешь, так хоть юристом станешь, хоть ювелиром. Или бухгалтер — вот до чего полезная профессия, твоя Викуся локти потом кушать будет, а ты всегда будешь при деле и при рубле! А захочешь, так и на иностранные языки можно пойти, вон французский — до чего ж красивый язык, а ты маленькая была — как раз картавила.

Кудахтали и улыбалась так, словно со слабой умной разговаривает. Какой бухгалтер? Какой ювелир? Какие Викусины локти? Катя тогда ничего маме не ответила, да и что тут скажешь-то? Не хочу? Не буду? Я лучше несуществующую Арктику порисую?

Сначала Катя думала, что это всё у мамы пройдёт, но оно стало только хуже. И каждый день мама придумывала что-нибудь противное, словно сама себя переплюнуть хотела. Что там бухгалтер... Дело даже до стоматолога дошло! А что? В белом халате, все уважают и даже немного побаиваются! И если вдруг муж попадётся *не очень хороший*, всегда и его, и деток прокормишь, и медицинской помощью обеспечишь, потому что врачи — они все заодно и друг другу помогают, обследования там, кодирования... И что самое обидное — при всём при этом вкус к собственному, спрятанному от дурацких гонок, существованию мама не потеряла. По-прежнему варила по утрам кашу, уходила на работу, а потом возвращалась с туго набитыми пакетами, азартно натирала полы, обхаживала толстокожие фикусы, радовалась сметане (наисвежайшая!) или болгарскому перцу (сочный, аж брызжет!) и о Кате продолжала заботиться так же, как и всегда. Но как теперь было верить этой заботе?..

Так и исчезло Катино убежище: даже в маме, даже дома не было больше защиты, и *непременное будущее*, дразнясь, выскакивало то тут, то там.

Викуся со Светкой тоже на своих мам жаловались, что как с ума они походили с этим поступлением и экзаменами, но Светку мама с детства била — по губам, если не то скажет, и по заднице, если не то сделает, и Светке самой хотелось из дому поскорей сбежать хоть куда, а у Викуси родной дядька в архитектурном где-то в Москве, ей там с самого рождения место было приготовлено, она и не возражала.

Катя промучилась почти год, страшно злилась на всех вокруг: и на подружек — за то, что всё уже решили и не страдают; и на маму, без усталости выдумывающую замысловатое дочкино завтра; и на себя — за то, что никак не могла, как все, смириться и жить уже наконец-то в правильную сторону. Мучилась, мучилась, а потом взяла и распечатала целой стопкой свою фотографию — ту, где брови хорошо вышли. Слова «ТЕБЕ КОНЕЦ» под собственным лицом отчего-то странно бодрили, а в животе от них становилось так, будто едешь с высокой горки.

5.

— Глянь, белые какие плетутся. Не местные, сразу видать. Мы в детстве так дразнились: «Бледня бледней!» Да вон, разуй глаза, вон, с вокзала

вышли. А чемоданов-то! Ещё одни припёрлись, только их тут и не хватало. Сидят в своих северных Задрищенских, а потом как ужалит их — к теплу захочется. Ну, солнышко у нас яркое, да, тут не поспоришь, а больше чего ж особенного? Ехали бы куда-нить к морю. Вон, помнишь, мы с тобой, как поженились, ездили в Туапсе? Чего там не жить? Чего молчишь-то? Будто не помнишь. Да не мычи, а отвечай нормально, если спрашиваю. Ой, гляди-ка, ругаются! Мать с дочкой, лица как похожи, правда? Наглая девка-то. Распустили тебя, малая, я бы давно ремнём, если бы мои так выкобенивались. Чего там она орёт? Сама всё расклеила и раскидала? Потому что страшно было? Чего-чего она хотела? Ничего не пойму! Что ж такое, никак не разобрать отсюда. Давай поближе подойдём, вон на ту лавочку пересядем, послушаем, интересно же! Смотри-ка, довела. Мать родная плачет стоит. Во семейка. Как не плачет? Смеётся? Ты чего, дурак? Слезы-то ручьём, я ж вижу! А, и правда улыбается. Гляди-ка, хохочет! Слушай, а вдруг они психические какие или бомбу несут? Давай-ка подальше от них, опасное дело. Пошли, пошли, чего пялишься? Кинутся ещё.